

Отпевание

Вцепились мне в крылья
У самого неба,
И я рухнул нелепо
Как падший ангел.
Я не помню паденья,
Я помню только глухой удар
О холодные камни...

(Наутилус Помпилиус «Падший ангел»)

Она помнила или знала, что сейчас октябрь, первые числа месяца. Пришла гроза. Это была последняя гроза в этом году. Она окружила город с четырех сторон света, расплескала по небу огромные косматые тучи, которые постепенно, но настойчиво заполнили всю небесную синь, оставив сиять лишь небольшой клочок, похожий на око, и сумевший не подчиниться стихии, подминавшей под себя пространство. Насупленный лоскут темноты замер над крышами. Короткие вихревые порывы, как разведчики и глашатаи сбивались друг с другом, поднимая с земли пыль, мусор, обломанные ветки, закручивались в мелкие смерчи. Что-то загрохотало, отзываясь стозвоньем в разных местах. Раздирая на куски, как лист бумаги, небо, прочертила молния свою первую неровную линию. И тут же ударил гром. С неба обрушился дождь. Капли уже в воздухе объединялись в потоки, которые с неистовостью хлестали по окнам, крышам, водопадом срываясь за шиворот снобистски выпятившимся многоэтажкам, серебристыми змейками ручейки заструились по переулкам города.

Дождевой кнут хлестал по всему живому. Редкие прохожие, спешащие укрыться от непогоды, непонимающе оглядывались, наталкиваясь взглядом на девушку. Её по лицу наотмашь бил ветер, она не чувствовала. Казалось, она существует в какой-то другой реальности, не принимая, не осознавая этот мир.

Здесь цвета исчезли, утонули то ли в дыме, то ли в тумане. Да и звуки, просачивающиеся издалека, были глухи, как бормотание спящего сквозь подушку. Всё вокруг было черно-белым, словно кадры из старого кинофильма. Она видела, как с небес падал и ложился на разломанный асфальт пепел.

Её светлый плащ насквозь промок и отяжелел. Босые ноги шлепали по лужам и не чувствовали ледяную плитку тротуара. Протянув руки вперед, будто, раздвигая, какие-то невидимые стены, она то шла, то переходила на бег, то чуть не падала на колени. Траектория ее пути была непонятна даже ей самой, кружа по городу, натываясь на чугунные ограды, дома, она не могла найти себя. Ей вслед встревожено сигналили машины, чудом, избежавшие аварии.

Виски сжимались огненным обручем при каждом ударе сердца. Она мечтала, чтобы оно прекратило биться, но оно не слушалось, ровными отрезками нарезая боль, и эта боль заполняла ее всю, захлестывала, как и та мутная вода, что плескала с небес и топила город в параллели мира. Боль была не ее, а других. Тех, кто иногда попадался ей на пути, тех, кто спрятался в домах со слепыми окнами, тех, кого она видела и тех, кого не знала. Они думали, что она сошла с ума, но это сумасшествие было их, влившимся в нее острыми, колючими, как ледышки, ручейками.

Мы все потеряли что-то
На этой безумной войне.
Кстати, где твои крылья,
Которые нравились мне?
(Наутилус Помпилиус «Крылья»)

Слова известной песни любимой группы, вырвавшиеся из телефонного будильника, возвестили о начале нового дня

Это был ее странный сон. За последний год осенняя гроза снилась вот уже в третий раз. Ей вдруг захотелось разгадать, к чему все это. Но вечно спешащие утренние предки отмахнулись, не дослушав. А бабушка, выливая тесто на шипящую и постреливающую точечными маслянистыми ударами сковороду, изрекла:

- Дождь, вода – к хорошему, если чистая. А в твоём сне муть какая-то. Да и сама ты, Сашка, мутная стала.

- Ага, как бутылочное стекло. Все, я позавтракала. Спасибо, кормилица, мне пора на работу. Пойду пыль с шедевров смахивать, коль сама бездарь.

- Вернешься-то когда? Родители-то твои сегодняшним вечером, фирменным восьмичасовым на Москву, отъезжать в командировку изволят. Мы вдвоем остаемся. - Бабушка со смешным и плохо выговариваемым именем - Ефимья Кондратьевна, выключив плиту и залив сырники сметаной, присела на краешек стула и горестно вздохнула:

- Опять целый год воевать с тобой один на один. Ты исхитрился сегодня к восьми на вокзал прискакать, хоть в последнюю минуту родителям ручкой помашешь. Александра, - уже зычным голосом прокричала она в нутро квартиры, - ты меня слышишь?

- Слышу, родная, слышу, – отозвалась Сашка из прихожей. - Если успею, помашу. Если нет, то тебе придется махать им обеими руками. За себя и за того парня, то бишь за меня. Не хмурься, не впервой, - Сашка прикоснулась губами к бабушкиной пергаментной коже щеки, оставляя на ней легкий след блеска, - У них еще пол Африки впереди. Думаешь, Ангола - это их последний вояж? Жизнь длинная, еще напровожаюсь. А сегодня, боюсь, может не получиться. Начальство мое тоже грозилось отправить внучку твою туда, куда Макар телят не гонял. Не знаешь, где это? - Сашка на какое-то время замерла возле зеркала, но, не рассматривая себя в нем, а как бы заглядывая внутрь зазеркалья. Потом, стряхнув оцепенение, рывком открыла дверь и вышвырнула себя наружу, как парашютисты выбрасываются из самолета.

Ее встретило и приняло в свои объятия мягкое весеннее утро. Город прихорашивался, на клумбах зацветали нарциссы, в их компании яркими всполохами распускались тюльпаны. Небесная синь, до блеска натертая облаками, отражала солнечные блики, раскидывая их щедрой рукой во все доступные уголки.

Но сон, вцепившийся в ее нейроны, не выветривался даже мягкой свежестью утра. Его внутреннее эмоциональное напряжение сковывало легкость и быстроту движений.

- Александра-А-А, очнись, детка, - начальница, хорошая знакомая отца, Ираида Сергеевна Пастухова, поведив рукой с ярко-красным маникюром перед глазами девушки, продолжала давать наставления.

- Поедешь с Геной в Гладишино. Он знает, где это. Найдешь администрацию. Возьмете ключи у главы, его зовут Петр Петрович Каплин. С ним есть договоренность. Но, если что, напомнишь обо мне и редакторе «Городских новостей» Лютовицком, мы с ним вместе были у главы. Покажешь документы. Да, заедете к участковому, пусть он прокатится с вами. Он должен сам вскрыть опечатанную дверь, и ты в его присутствии перепишешь все картины, эскизы, вообще все творческое наследие художника Ясиневского. Составишь акт. Постарайся правильно все упаковать в ящики. Да не надрывайся сама. Гена тебе поможет. Да, Гена? – Ираида тяжело со значением посмотрела на водителя шикарного внедорожника, принадлежащего галерее. – Не забудь собрать все подписи под актом: главы, участкового, сама подпиши. По одному экземпляру всем. - Она протянула тоненькую пластиковую папочку с листиками стандартно составленной деловой бумаги, в которую надлежало вставить количество изъятого у местного художника, скончавшегося полгода назад и не оставившего ни завещания, ни наследников. Все переходило в собственность бывшей когда-то государственной, галереи.

- Хорошая машина, дорога, скорость, девушка рядом. Не работа – сказка. Вот только, - Гена покосился на Сашку. - Не нравилась ему эта непонятная нахохлившаяся, как серая цапля на болоте, девчонка. Вроде бы и не уродина, а какая-то нелепая. На руках – разноцветные нитки, тесемки. Волосы, правда, хороши. Светлые, вьются. Голова на одуванчик похожа.

Нет, кто-то из ребят сказал, что она на лемура смахивает. Такая же большеротая, большеглазая. Одевается непонятно, в балахоны, где ни фигуры, ни черта ничего не видать, да джинсы. То ли дело ее напарница Вика. Сказка, а не девушка. И болтушка, и хохотушка. Вот бы сейчас всю дорогу трещала. Можно было бы и на лоне природы немного отдохнуть. А что – дело молодое. Он усмехнулся, припомнив слегка переделанное - «Тело молодое». А с этой и молчать то, словно груз в гору тащить.

Генка еще раз покосился на попутчицу и включил музыкальный центр. Из динамиков понеслась то разухабистая, то слезно-плаксивая музыка шансона.

Видит Бог, Сашка терпела это долго, целых семь километров. Это она дорожные указатели считала. Но всему есть предел. Ну почему такая несправедливость?! Если машина красавица, то шофер обязательно гопник какой-то. Она бы послушала свою музыку, да за ночь у плеера батарея села, а зарядить с утра времени не хватило - Как несовершенен мир, - произнесла она громко, чтобы мысли, облаченные в слова, были услышаны. И они таки были услышаны.

- Чё?

- Ничего. Музыка выключите, пожалуйста, голова болит, - Сашка старалась и жестами донести смысл сказанного.

- А чё, не нравится? С музыкой веселей. Вот хочешь я ..., - он полез за другим диском.

- Лучше радио включите, - переспорить любителя шансона трудно, Сашка пошла на компромисс.

- Ладно. Радио так радио. – Генка, обидевшись, пощелкал кнопками.- Чё ты нудная такая?

- Я вас не трогала и в вашей аттестации не нуждаюсь. Нас связывают только рабочие отношения. Поэтому воздержитесь от оценок моей скромной персоны. – Сашка, как могла, выразительно посмотрела на водителя.

- Чё?

- Ничего. На дорогу смотрите.

А вот это она ему зря сказала. Генка, хоть и всю жизнь проживший в деревне, любил машины, и шофер был хороший. В школе он колючей проволокой не мог связать несколько слов в удобопереваримую фразу. Зато все правила дорожного движения знал наизубок. Да он уже в три года мог найти с закрытыми глазами в машине масляный фильтр....

- Городская, блин, всю жизнь за мамой-папой прожила, умных слов понахваталась и гордится,- зло думал Генка, но в перепалку с девчонкой вступать не стал. Он выключил радио. Как-то разом успокоился и перестал обращать внимание на колючую пассажирку. И пока она оформляла документацию в администрации района, беседовала с главой, он тем временем расспросил, где найти участкового, познакомился с ним. Свой в доску парень оказался. И, чтобы дорогу удобнее было показывать, лейтенант сел вперед, на место этого кактуса в джинсах. И понеслась мужская беседа: кто, где служил; как сыграла местная футбольная команда; футбол по телику вообще фуфло стал; жара стоит - по пивку бы.... И еще много всего разного, что подсказывала, как тему, дорога.

А в Сашке напряжение нарастало. Домик художника, в котором он прожил почти тридцать лет, был в сорока пяти километрах от центральной трасы. Лейтенант Кислицын показал, в каком именно месте необходимо свернуть на проселочную дорогу. Сначала это было плохо заасфальтированное шоссе, все в яминах и ухабинах.

- Сейчас дорога еще так себе, ехать тряско, но можно. Дальше хуже, - объяснял он Генке, при этом, слегка кося в зеркало, - Потом будет просто гравийная дорога, а последние несколько километров - чернотроп.

Генка понимающе покачал головой. Сашка же просто отвернулась к окну, не желая вступать в разговор.

А вокруг весеннее буйство природы.

- Сюда бы на пленэр,- вдруг подумалось Сашке. Только другой голос внутри жесткий и безжалостный внятно произнес,- Но это для талантливых, а тебе комиссия ясно сказала – бездарь. Так что делай своих кукол, их народ скупает, они народу нравятся, за то тебя Ираида в галерее и держит. А про живопись, забудь. Вон, видишь, как прозрачная бело-

березовая рощица помахала тебе вслед бледно-зелеными ладошками. Вот так и ты голубой мечте выставить когда-нибудь, где-нибудь свою мазню «сделай ручкой».

А дорога, петляя меж полей и сосновых посадок, вдруг уперлась в настоящий лес. В машине потемнело. Высоко в небо уходящие кроны деревьев сомкнулись, и теперь сквозь шатер проскакивали веселые солнечные зайчики, бликуя на дороге, стеклах и зеркалах автомобиля. Сашка неожиданно для всех, а больше для себя, вдруг попросила остановить машину. Генка, понимающе хохотнул:

- Ну, ладно, мальчики направо, девочки налево....

И действительно, на левой стороне дороги был густой ельник. Ели, елки, елочки сплелись между собой хвойными веточками, тогда как с правой стороны раскинулся роскошный дубняк. Многовековой дуб – одному человеку не обхватить, даже длиннорукой Сашке, мощными корнями приподнял асфальт дороги, отчего он был похож на качественно изжамканную серую бумагу. Прародитель. За ним и вокруг него целая рощица – от сыновей до правнуков. Правда, в ельнике и в дубняке встречались перебежчики. Но вокруг них существовала как бы зона отчуждения.

- Даже в природе чужаков не любят,- подумала Сашка, подняв шишку и поковыряв ее, в поисках семян что ли.

Через лес ехали довольно долго. И Сашка еще не раз была удивлена и соотношению красок и природным чудачествам, переходящим иногда в явное хулиганство. Никогда, никому не удавалось изобразить на холсте столь совершенное, что было создано кем-то свыше, подарено человеку и названо природой. Художественный гений мог скопировать, но не создать. «Есть техника, хорошая ремесленность, но не хватает мыслей, чувства не читаются. Ваши работы холодны. В них нет вашего участия, нет художника», - вспомнился ей вердикт наставника. И тогда Сашка, собрав вещи, не впусив ни одну эмоцию, которая могла сделать ее безумное решение слабее, с холодной рассудочностью села в поезд, увезший ее из ставшего таким родным и близким Питера, в город детства.

- Слушай, а ты где училась? Ты ведь тоже художница? Да?- лейтенант своей жизнерадостностью ворвался в Сашкины мысли, прервав ее самоедство и самоуничужение – такое любимое занятие любой мало-мальски творческой личности. Они с Генкой, переговорив на все актуальные мужские темы, плавно перешли «на баб». А тут в машине оказалась, хоть и слегка странноватая, но зато единица противоположного пола. Так вот, есть, кому пыль в глаза пустить, удаль мужскую показать, «закадрить», - так сказать.

Сашка давно уже знала, что легче всего отвязаться от назойливого, нетактичного мужского внимания – это дать односложную, исчерпывающую информацию так, чтобы заглушить на корню праздное любопытство и желание покопаться в ее душе.

- Училась в Питере. Отчислили за профнепригодность. Учусь в нашем универе на худграфе, делаю кукол, работаю в галерее. Терпеть не могу мужчин, говорящих больше меня. Если не трудно, то забудьте о моем присутствии, пока не доедем до места.

- А чего до него доезжать. Все, сейчас повернем и приехали. Там домишко такой, увидишь,- стал объяснять он водителю, мимикой выражая Генке свое недоумение. – Я ведь не просто так спросил. Этот Ясинеvский тоже в Питере жил. Он там картины писал, но нигде не работал, у него после блокады - астма. Ну, это может быть сплетня, так бабы рассказывали. Короче, его, как тунеядца, выслали из Питера. Он как-то сюда добрался. Здесь его знакомая жила. У нее поселился. Приехал – ханыга ханыгой. Себя Митьком назвал. Его тоже все Митек, да Митек. К нему друзья приезжали. Короче, тоже все Митьки. Я с девчонкой встречался, она в художку ходит, так вон она рассказала, что в восьмидесятые годы в Питере так все художники, которые не входили в Союз, или, там, авангардисты,- словно выплюнул слово лейтенант, - короче, потенциальные диссиденты, называли себя Митьками. А когда помер этот Ясинеvский, я на похоронах был, специально посмотрел, может он – Дмитрий, нет - Никита Александрович. А картины у него, говорят, классные, только непонятные. Его питерские друзья, когда получалось, продавали их за границу. Говорят, хорошие бабки у него на счету в банке. Прикинь, на

валютном счету даже после дефолта у него тысяч несколько оставалось, а жил, как бомж. Да, сейчас увидите.

После недолгой возни с досками, которыми были заколочены входная дверь и ставни маленького, присевшего на один бок дома, мужчины широким жестом пригласили бродившую по заброшенному дворику и осматривающую окрестности Сашку.

- Ну, что я вам говорил, видите, - Кислицын придерживая дверь из сеней, пропустил девушку впереди себя, - видите....

И она, увидев на освещенной солнцем пыльной стене облаченный в раму свой сегодняшний сон, замерла. Она раздвоилась. Александра отпустила помощников на волю, чтобы Сашка смогла прийти в себя.

А Генка и Кислицын, узнав, что на несколько часов могут быть свободны, и ей от них ничего не нужно, пошли покурить на просторе. А именно к какому-то пруду, на разведку, насчет, ловится ли там рыба.

В этих картинах билась Жизнь. И Сашка, комплектуя, и составляя опись, полностью погрузилась в нее. Развязывая папки с эскизами, набросками, рисунками, пересчитывая и переписывая названия картин и распределяя их по темам, она захлеб погрузилась в чужую жизнь.

- Вот смотри, Шурка, про нас в газете написали: «Живут на свете чудaki». - Это, значит, мы с тобой - чудaki. А что в нас с тобой чудного-то? Живем и живем, никому не мешаем. Это, помнишь, к нам девица такая с ногтями красными, губами красными приезжала. Колоритная девица, я тебе скажу, что-то вампирическое хищное на мордашке своей нарисовала. А мордашка то была прехорошенькая. Все ахала, фотографировала, да выспрашивала, - старик поправил очки, покачал головой птице, прищелкивающей клювом ему что-то в ответ и начал читать:

«Дорога, а точнее бездорожье привело нас в маленькую избушку, с виду больше похожую на баньку. Она была такая ветхая, подстать хозяину, который вышел на мои призывы, этакий старичок-лесовичок, а следом за ним, страшно и громко щелкая клювом, вышагивал аист. Хозяин пригласил нас в дом. Удивительно в наше время не встретить в домашнем обиходе бытовых благ цивилизации. У Ясиневского Никиты Александровича, а именно так звали приютившего нас человека, не было ни привычных для городского жителя телевизора, ни холодильника. Кроме электрического чайника да лампочки под потолком, которая светила тускло, словно ее предназначением было не освещать комнату, а лишь разбрасывать по углам тени. На подоконнике стоял маленький транзистор, шипевший и что-то невнятно бормотавший. Зато все стены были увешаны картинами в затейливых рамах. Я, конечно, не специалист-искусствовед, но картины мне понравились. По-детски наивные и несовершенные, они как будто хотели рассказать что-то главное о художнике-человеке, который тяжело и хрипло дыша, медленно передвигался по дому.

«Как же вы живете здесь один, больной? Вам ведь даже, если что-нибудь случится, помочь будет некому. Куда местная власть смотрит? Знаете, я помогу вам, давайте ваши документы, я обращусь в органы социальной помощи, чтобы вас в дом престарелых оформить», - предложила я свою помощь. И тут я увидела неподдельный испуг Никиты Александровича: «Что вы, что вы не надо никуда обращаться. Я едва отбил от них, от этих всех властей. Никуда я из этой избушки не поеду, здесь помирать буду. У меня все необходимое есть, а больше мне ничего не надо».

Старик читал все время прикашливая, потом отложил газету, осмотрел нехитрое убранство своего дома и заворчал:

- А на кой мне холодильник, если в него класть нечего. Лошадь, козу продал после смерти Сони, кто за ними ходить будет. Три курицы с петухом есть, да и то порой в тягость. Петька вон за четверть движок перебрал, починил, теперь хоть свет есть, а то считай больше месяца мы с тобой на свечах да на керосине сидели. Вода во дворе, прямо у крыльца, это еще при Соне. Насосом чуть и покачаешь и пользуйся. А печку в прошлом году попросил мужиков разобрать, куда мне протопить ту махину-то. Сложили группку, а мне и достаточно, тепло дает-дает, и супец какой-никакой... – Никита Александрович

© Валевская А.А. (Ортега Т.А.), 2011

засипел, засипел, закашлялся. Отперхал, положенное ему, отдышался, да и снова забубнил:

-Дались мы им с тобой, два калеки, два инвалида. Вон и Катя с Максимом, с последним из оставшихся в живых его питерских друзей, приезжали, ужасались. Она все с собой звала. Вся такая...,- Старик замолчал, потом шмыгнул носом, протер увлажнившиеся глаза, и вдруг резко зло сказал кому-то в угол:- Она меня по-молодости-то стыдилась. Она, как хорошая борзая с родословной, в их квартире весь цвет серебряного века на чаепития было собирался. Они семью сберечь смогли, не растеряли, преумножили. У них этикет из каждого угла на меня пальцем показывал. А я кто – мазила безработный, без роду и племени, ни сесть, ни встать правильно не умею. В дом к ним босы партийные вхожи были, к элите приобщиться желали. Меня по головке так снисходительно власть погладить пыталась, а я вдруг – гордый. Так ведь меня сама Советская власть в ценки подзаборные определила, и пусть, и быть посему. Вот только стоило мне лапку на тот забор поднять, как миску отобрали, а уж после того как твякнул на кого-то, так и вовсе – пнули и забыли.

И снова сухой кашель стал рваться из старческой груди, раздвигая и сдвигая ребра, как меха гармоники. Пришлось пустить в ход ингалятор. А потом ещё долго ссутулившаяся фигурка, сидела не шевелясь, боясь спугнуть покой.

Наконец, он поднялся, выключил, давно закипевший и плюющийся во все стороны кипятком, чайник. Но чай пить расхотелось. Он достал с полки заветную четвертинку водки. Шурка недовольно застучал клювом.

-Да ладно тебе, сегодня можно, я же не каждый день-то. Сегодня у Сонюшки день рождения. Пойдем к ней, могилку подправим, да помянем. Вот соберу сейчас закуску.- И старик сложил в пакет приготовленные загодя яйца, сало, хлеб. Позвал из дому Шурку, и, сгорбившись, не спеша, побрел в лес.

Медленно кружились и падали листья с тополей. Лишь немногие слышат, как они шуршат, когда совершают свой единственный танец. А ведь этот шелест и есть песня осени. Тихая, ненавязчивая легкая, как полет паутинки песня, с припевом повторяемым ветром, который хочет донести ее до всех. И доносит, через какое-то время, заразительный мотив подхватывают березы, яблоньки, клены, дубы. Долетает напев и до леса. Сосны, чтобы поддержать хор, начинают в такт раскачиваться, тоскливо скрипеть.

Человек, наверно, ещё не очень старый, но почему-то сгорбленный, с ввалившимися глазами, заострившимся носом, небольшой светлой бородкой и необычно тонкими запястьями сидел на пригорке за лесом и слушал эту песню. Рядом с ним важно расхаживал аист. Он совсем не боялся человека, напротив, был его единственный другом. Аист, по птичьим меркам, был стар, одно крыло птица все время пыталась подбросить, но оно непослушно обвисало. Аист хотел поддержать его клювом, но оно все равно падало, тогда он грустно смотрел на своего друга человека и начинал вроде бы как жаловаться, тихо пощелкивая, словно вздыхая.

-Ну, перестань-перестань,- пожилой мужчина протянул руку и погладил аиста по спине.- Могилку я подправил, сейчас пойдем.

Он решительно встал, но вдруг схватился за грудь и медленно осел. Птица взволнованно запрыгала рядом, затрещала.

-Все нормально, тише. Иди сюда.

Два инвалида молча сидели возле могильного холмика и смотрели куда-то сквозь время и пространство...

Теперь всякий раз, как приступ удушья сгибал его пополам, память тут же настигала его, разворачивая картины его далекого или близкого прошлого. Это были его картины. Он их писал. Писал, как умел, как чувствовал. Это была его техника, его художественное видение, которое власть заклеимила и отвергла. Поэтому никому на Родине никогда не был интересен художник Ясинеvский своим творчеством. Он, и как человеческая единица, никогда не был нужен своей Родине, она терпела его – вечного инвалида.

...Никита с трудом выбрасывал из еще неглубокой ямы, землю. Он не столько помогал деревенским мужикам копать могилу, сколько мешался у них под ногами. Наконец, они, не выдержав, почти без мата, отобрали у него лопату и выпихнули наверх. Присев на траву, он сжал голову ладонями. По его вискам катился пот, локти дрожали, дыхание было порывистым, хрипящим. Рядом лежал деревянный ящик, необтесанный, грубо сколоченный. Его еще нужно было обшить всем тем смертным, из Сониного узелка, так как она ему не раз наказывала. Никита провел по нему ладонью и тихо позвал:

-Соня...

Хотелось плакать, но слез не было. Не потому что ему не жаль было Соню. Нет, он кусал до крови ладонь, чтобы не закричать, когда она пересохшими, потрескавшимися губами просила пить каждую минуту, а он понимал, что вода не поможет. И сейчас он мог бы по-звериному выть, уткнув голову в жесткую обгоревшую траву, но плакать разучился. Слезы кончились давно.

А вот Соня последнее время плакала. Наверно перед смертью вспоминая все, что пришлось пережить. Ведь тогда она запирала в себе боль, перемалывала и шла дальше, ещё и Никиту за собой тащила. А потом боль вернулась, превратив Соню в совсем другого человека. Она лежала на кровати, тонкое одеяло прикрывало остро выпирающие кости. На ее пожелтевшем лице, казалось, были одни глаза, огромные, ставшие стальными, испуганные глаза. Губы что-то шептали. Он не мог разобрать слова. Боже, как не походила она последний месяц на ту Соню, которую он впервые увидел.

...Ему было пять. Он читал наизусть на коленях у отца «Руслана и Людмилу». Отец слушал внимательно, приспустив очки в тонкой золоченой оправе на кончик носа, забыв про грудку бумаг на столе. Когда у Никиты кончился в легких воздух, а слова в голове ещё оставались, отец засмеялся и прижал его к себе:

-Друг мой, у тебя феноменальная память. Когда-нибудь ты станешь самым выдающимся, самым известным, ну, кем ты будешь, подсказывай, - он щекотал мальчика и, покачивая его на коленях, теребил его.

- Самым известным профессором в нашей семье,- захлебываясь от смеха, вещал маленький Ник.

Они были так заняты друг другом, что не слышали звонка в парадной. О гостях узнали, когда в кабинет заглянула мама и попросила выйти и поздороваться.

Соня. В свете яркого дня ее тугая толстая коса, обвитая вокруг головы, светилась золотистым нимбом. В голубых глазах весело плясали солнечные блики. Черные туфли лодочки с блестящей пряжкой, белые носки, синее в белый горошек платье - скромная, милая девушка. Она немного смущалась от пристального оценивающего взгляда двух мужчин – взрослого и ребенка.

-Соня- племянница Марьи Антоновны приехала поступать в техникум, будет жить у нас и когда будет время, присматривать за Никитой,- представила ее мама и пригласила всех в гостиную пить чай...

Земля глухо стучала, падая на деревянную крышку. Горстка ее односельчан потянулась вереницей в дом, за стол, помянуть. Поправив самодельный крест, он прочитал «Отче наш» и медленно пошел в глубь леса. Сделав несколько шагов, оглянулся. Хорошее все-таки выбрал место- пригорок, заливало солнечным светом, рядом росли молодые березки, все дышало спокойствием, миром, тем чего ей не хватило в жизни.

-А меня ведь даже хоронить некому будет. Помру, и буду лежать один, когда еще найдут,- мысль, высказанная вслух, больно обожгла легкие.

Он зашелся в кашле.

...Однажды летом воскресным утром на даче, на берегу Финского залива, они с Соней строили на зеленом, ворсистом ковре железную дорожку. Ползали друг за другом на коленках, а мама наигрывала на гитаре что-то веселое. Вдруг из своего закутка-кабинета в комнату вошел бледный отец:

-Нападение Германии без объявления войны... Утром бомбили Киев, Минск, Брест. Мамины пальцы дрогнули, звук оборвался, превратившись в горький женский вскрик.

С тех пор в его жизни все стало постепенно исчезать. Вначале смех и улыбки родителей, потом прогулки по набережной и Невскому проспекту с Соней, затем пропали какие-то продукты. На смену пришли новые непонятные слова все чаще произносимые родными шепотом, скрывая от него - отступление, эвакуация, фашисты, аэростаты, бомбежка, блокада, голод. Впрочем, смысл последних слов он почувствовал на себе...

...То лето выдалось знойным. Сохли и горели травы. Пропадали озимые. Пересыхали болота. Птицы не в силах прокормить птенцов выбрасывали их из гнезд. Казалось, сама природа избавляется от лишнего. Только в лесу тени по-прежнему были длинными, мохнатыми, спасающими от раскаленного, будто сковорода, солнца.

После смерти Сони прошло уже несколько лет, согнувших и состаривших его. К лесу он привык. Он стал ему другом и помощником, не оставлял без еды, лекарств, потихоньку лечил душу. Наведав перед Пасхой Сонину могилку, Никита не спешил в дом. К пустоте все равно не опоздаешь.

Внезапно он остановился. На краю дороги, под высокой ракитой, где на верхушке аисты свили гнездо, запутавшись в колючих ветках терна, что-то трепыхалось. Никита подошел и ужаснулся. То, что вначале показалось ему белой тряпицей, оказалось птенцом аиста. Он зацепился крылом за толстую ветку, шеей застрял между колючек. Аистенок едва дышал, он с трудом втягивал в себя каждый глоток воздуха, но и эта малая порция кислорода вырывалась обратно, судорогой проходя по крошечному тельцу.

-Подожди- подожди,- трясущимися тонкими пальцами Никита освобождал птенца.

Когда маленькое чуть живое существо оказалось в его руках, он, прибавив шаг, понес его к дому, каждую секунду прислушиваясь, дышит ли?

В сенях Никита отыскал ящик из-под макарон, на дно уложил тряпки, аккуратно поместил туда аистенка. Засуетился в поисках зерна, воды, потом вспомнил, что аисты питаются лягушками, побежал на болото.

По колено в тине, задыхаясь от удушливого гнилостного духа, Никита ловил головастика, лягушат, бил оводов. Он понимал, что аист теперь смысл жизни, потерять его он не мог. Два вдоха ингалятора. Нужно отдышаться, или приступ скрутит так, что будет не до птицы.

...Маленький Никита Ясинеvский все чаще оставался один в ставшем чужим без привычных вещей, доме. Вместо великолепных картин, доставшихся его отцу по наследству от деда - известного художника, на стенах оставались лишь невыгоревшие пятна обоев. Никитку мама записала в школу, хотя полных семи лет еще не было. Но война внесла свои коррективы в начальное образование мальчика. Он уже несколько недель сидел дома, потому что осень выдалась необычайно холодной, он заболел, а выздороветь все не получалось. Постоянный кашель изводил его. Но мальчишка нашел себе занятие. Он достал старый дедов этюдник, краски, листы картона и рисовал свои картины Счастья. Ими он закрывал «глупые и скучные» места на стенах. А потом приставал к взрослым с вопросом: «Правда, так стало лучше?»

А они лишь гладили его по голове и грустно улыбались. Великолепные, на его взгляд, картины детского счастья, никак не могли изгнать из комнат затаившегося где-то в углу Страха. Он его тоже рисовал, но страх на детских рисунках был глупый и вовсе не страшный. А вот того, занявшего весь темный угол за буфетом, боялись даже взрослые.

Мама вечером разжигала примус, готовила гороховый супчик и шила мешки для песка, а днем уходила в музей «спасать искусство». Он такой ее и запомнил: маленькая, хрупкая, на лбу серебристый легкий шарфик, не дававший падать на глаза темно-русые кудря, склонилась у стола с грубой тканью, как прежде над книгой.

Марья Антоновна стирала в больнице, от этого ее большие ласковые руки стали навсегда красными и грубыми от мозолей. Она с Соней теперь жила в больничной каморке, что когда-то служила чуланом при прачечной. К Ясинеvским она приходила теперь лишь по

делу. Вдвоем с профессоршей, они, собрав по дому наиболее ценные вещи, шли на рынок, чтобы обменять их на продукты, или ехали в пригород, где в частном секторе тоже шла мена-торговля. Марья Антоновна не давала ушлым менялам обмануть «бедную Елену Андреевну».

Папа так же ходил в свой институт, но стал рассеянным, будто потерялся в этом изменившемся мире.

Мальчик вполне его понимал. На улицах творился хаос. Город сильно изменился. Все памятники были спрятаны под мешками с песком, только сфинксы пока остались незащищенными, но они так безразлично и уверенно смотрели вдаль, что беспокойство за их судьбу не возникало.

В светлые душные летние ночи 1941 года, плавающие в небе аэростаты походили на громадных летающих рыб. Никита их не боялся, Соня ему рассказала об их важной и нужной миссии. Не страшны были и крестящие небо то длинные, то короткие лучи. Самым ужасным стал ближе к зиме звук тревоги.

От него Никита цепенел, с трудом перебирал ногами, когда мама или папа тащили его за руку в бомбоубежище.

В этот вечер мама, закутав Никитку, попросила Соню спуститься с ним в бомбоубежище. Спускаясь с третьего этажа, они встретили папу, спешащего домой. Приказав им торопиться, сам через две ступеньки ринулся за мамой. Они с Соней успели до бомбежки добежать до укрытия. Но папы с мамой все не было и не было.

- Он их забрал. Все разрушил и утащил их, чтобы я теперь навсегда боялся,- вдруг внезапно проснувшись, произнес Никита.

- Кто, малыш, - Соня прижала к себе теснее мальчика.

- Страх, живший за буфетом. Он все разрушил...,- всхлипнул мальчик.

- Тише, тише, это только сон, все будет хорошо,- но задремать Соне уже не удалось.

Они просидели в убежище всю ночь. Лишь рано утром, вернувшись, они увидели, что угол дома, где была их квартира, стал большой дымящейся кучей...

- Ник, что за гадость ты нарисовал,- Марья Антоновна заглянула через плечо мальчика, в недоумении рассматривая рисунок.

- Это как Страх родил сироту.

Аист, несмотря на слабость и малолетство, больно клевал Никиту, когда он перевязывал ему лапу и осматривал крыло. Птенец быстро освоился в новом «гнезде» и что-то выстукивал в полу, в бревенчатых стенах. Иногда он «нахаживал» больную ногу, и Никите приходилось доставать его из дальнего угла и укладывать в ящик, откуда птичий разведчик продолжал следить за действиями своего большого друга, смешно вертя головой.

Птенец рос, в избе ему не хватало природного простора. Тогда Никита пристроил колесо от телеги между ветхим сараюшкой и избой невысоко, но и туда не мог взлетать его питомец. Тогда человек сколотил и приставил лестницу к колесу. Шурка, так был назван аистенок, до этого внимательно наблюдавший за происходящим, принял дело в свои руки, а точнее в клюв. Он обошел пол-леса, разыскивая нужные веточки, палочки, каждую нес отдельно, гордо выпятив грудь. Так он строил свой дом. Сойка летала над ним, что-то спрашивая, как-то советуя, он игнорировал ее, лишь иногда недовольно щелкал клювом в ответ.

Во дворе Никита сделал маленькое болотце, наносил мутной илистой воды, сам кидал туда лягушек. Аист довольно пузырил воду, бултыхал в ней длинными нескладными ногами.

Когда Ясиневский уходил в село, чтобы набрать продуктов, Шурка шел с ним, пытаясь шагать в ногу, изредка забежал вперед, вглядываясь в лицо друга: «Все нормально? Все хорошо?» Мальчишки, похожие, как братья- все конопатые, с выгоревшими на солнце волосами и облупившимися носами, забросив лапту, рогатки, выискивание кладов бежали за ними гурьбой, повторяя на все голоса:

-Никита Алексаныч, а он кашу ест?

© Валевская А.А. (Ортега Г.А.), 2011

-А что с крылом?

-А где вы его взяли?

Но чаще всего:

-Можно потрогать?

Их пацанячью гвардию не останавливало даже то, что все в деревне немного сторонились чужака, считая его чудачком, бирюком. Напротив, эта слава разжигала в сознании ребят ореол таинственности, вселяла бескрайний интерес. Возвращались Никита с Шуркой в лес уставшие от общения, тревог, суеты, но с полным рюкзаком припасов и ведерком лягушек, наловленных ребятишками.

-Ой, подожди, Шурка,- он завозился в карманах, судорожно разыскивая ингалятор, а сухой кашель уже рвал легкие.

...Конец лета, осень и часть зимы они с Соней прожили в полуподвальной комнатке первой городской больницы (теперь ее называли госпиталем), где работала и жила в дежурке за ширмой Марья Антоновна. Комната была холодная, из множества щелей поддувало сквозняком, они попытались законопатить их тряпками, но тряпок не хватило. Маленькое двухрамное оконце, где внутри было все в пыли и паутине, с первыми морозами навсегда затянулось серебристым инеем. Потолок был обклеен пожелтевшими газетами, Никита пытался их читать, лежа на клеенчатой кушетке, но листы были приклеенные вкривь и вкось.

Сони днем не бывало, она работала в госпитале, ухаживала за ранеными. Гуляя по большому грязному двору, мальчик познакомился с кочегаром дедом Леней. Стал помогать ему, топить печь: разыскивал бумагу, носил щепки. Дед Леня был сухоньким быстрым старичком, постоянно сыпавшим прибаутками и курившим козью ножку. Он научил мальчика резать ложки из липовых чурочек и точить ножи. Вместе они ловили редких мелких рыбешек в канале, которых Соня потом варила в котелке.

Но чаще Никита ел кашу, которую приносила вечером Соня в маленькой закопченной кастрюльке, обмотанной платками, да сильно посоленный черствый хлеб. Поужинав, они забивались в угол, подтыкая со всех сторон рваное одеяло. Соня рассказывала ему про русалок, леших, домовых. Домовой почему-то неизменно представлялся Никите жутко похожим на их кастрюлю в платках. Когда Соня очень уставала, то мальчик, если не свистело и не хрипело в горле и не бил кашель, сам рассказывал ей сказки, которые когда-то ему читали мама или отец, или рассказывала по вечерам на даче Марья Антоновна. Любимый «Робинзон Крузо» через какое-то время оброс подробностями, о которых не догадывался сам Дефо. Иногда сюжет переносился с далекого необитаемого острова на Заячий. Вскоре Соня подхватила этот рассказ, и Робинзон превратился в доброго, отважного героя, спасавшего от голода и бомбежек несчастных людей каждую пятницу...

Поздняя осень давно уже ассоциировалась у Никиты с участвовавшими приступами, но в счастливых хлопотах, связанных с крылатым товарищем, он забыл, что должен беречься. Нельзя было пить холодную воду, на беду промочил ноги в охоте за лягушками, перестал пить настой трав, заготовленных ещё летом. Все это он в миг припомнил себе, сгибаясь от удушающего кашля, не в силах глотнуть воздуха. Шурка очень испугался, прыгал вокруг, пытался взлететь, громко стучал клювом, трещал им, обнимал крыльями колени. Но Никита видел лишь пульсирующую темноту перед глазами и чувствовал, как горят легкие. Они почему-то всегда болели со спины, там, где сходятся лопатки. Иногда Никите казалось, что на них два длинных шрама, они кровоточат и болят.

Уже вторую неделю Ясинеvский почти не поднимался с постели. Рядом стояла вода и хлеб, тут же лежал, распластав больное крыло, аистенок. Подрoсший птенец позволял себе спать лишь, когда дыхание его друга из хрипа переходило в тихий свист, и переставал мучить кашель. Оба сильно похудели, глаза у них сразу стали печальными, наполненными влагой.

Болезнь не отступала даже от инъекций, которые вливали, как глоток живительного воздуха, приходящая к ним фельдшерница. Она ворчала, но подкармливала их с Шуркой. А они выживали...

...Спасение действительно пришло в пятницу. Сквозь обстрелы в Ленинград чудом прорвались несколько грузовиков с Большой Земли, они привезли розовые ледяные горки, Соня объяснила, что это мясо, для бойцов и тех, кто остается. Но они не оставались, их отправили на этих же полуприцепках, по замерзшей Ладоге на Большую землю. А потом они еще очень долго ехали в товарных вагонах через всю Россию. Сначала прошел слух, что везут их в Среднюю Азию, про которую совсем обессиленному от голода Никитке рассказывала Соня удивительные вещи. А мальчику, в холодной, продуваемой теплушке, уносившей его в далекую Сибирь, снился непрерывный сон про зеленый город. В нем на деревьях выспевали не только фрукты, но и хлебные булочки. «Ташкент – город хлебный», – так называла Соня то место, где они должны будут жить. Но в Павлодаре их вагоны были прицеплены к составу, который повез их через весь Алтай куда-то в Верховья Енисея на границу с Монголией, конечной стала станция Абакан по Усинскому тракту. А еще ему снился Сфинкс, говоривший голосом отца: «Ты возвращайся сюда, мой мальчик, я тебя ждать буду».

Соне не пришлось долго бегать и просить, чтобы их вывезли, она всего лишь пришла с Никитой к какой-то важной тете, что составляла списки и назвала фамилию: «Ясиневский». Никитиною отца хорошо знали и уважали в институте, где он преподавал и занимался наукой. На площади толпились странные молчаливые люди, скупые в движениях. Они не суетились, а терпеливо ожидая своей очереди, поднимались в кузов грузовика, усаживались и замирали. Кто-то прижимал к себе ребенка. Они расставались с городом, не зная, придется ли встретиться.

Никита стоял, оглядываясь по сторонам, закусив до крови нижнюю губу, он прощался с Ленинградом навсегда. Вспоминал Аничков мост, гордых сфинксов, Летний сад, где гулял с мамой совсем маленьким, дом и его развалины. Касался в памяти, будто перышком, любимых мест. Он вырос. А еще он запомнил, чтобы написать потом картину: «Блокадные сны», которая была вывезена и продана в Германии, но эскизы то остались.

...Их новым местом жительства стало стойбище сойотов или тувинцев, приютившее в старом бараке часть эвакуированных. Соня устроилась работать в артель по пошиву овчинных тулупов для бойцов Советской армии. Никита целые дни был в бараке один. Скучал по родителям, беззвучно плакал. Часто, очень часто ему снилось Счастье – солнечный день, Соня в синеньком платье и белых носочках, он читает стихи папе, а мама зовет всех к столу, пить чай. А потом фортепьяно срывалось на визг тревоги, зовущей в бомбоубежище. Именно так, считал мальчик, в его дом пришла Беда.

Он не мог ходить в школу – задыхался. Чтобы как-то занять себя днем, он стал читать. Книг на весь барак было с десяток, но и этому Никита был рад. Потом к нему сначала изредка, а потом почти каждый день стала ходить из школы учительница, и мальчик понял, чтобы выжить, надо учиться. Он очень старался.

Валентина Петровна, отсидевшая в лагерях за мужа – врага народа, за себя – жену врага народа, была сослана сюда на поселение. Друзья после войны помогли им перебраться сначала в Кызыл, а потом в Барнаул. Она, в той, прошлой жизни, читала лекции по литературе студентам в МГУ, а теперь учила правильно читать и понимать прочитанное маленького мальчика, с выпирающими из под тонкой ткани лопатками, похожими на два атавистических отростка, бывших когда-то крыльями. А еще он чудно рисовал. И Валентина Петровна покупала или выменивала ему на блошином рынке краски, карандаши, бумагу, не оставляя себе порой денег даже на лепешку. Но они выжили. Мальчик стал смыслом ее жизни. Она лечила и учила его, чтобы не умереть от «Болезни Одиночества», так назвал он несколько очень жутких по смыслу рисунков, которые потом стали картиной.

-Почему? - спросила она.

- Потому что было много картин Счастья, - ответил он.
- Но ты ведь не одинок. У тебя есть Соня и для меня ты стал родным, а, значит, у тебя еще есть я.
- Когда я задыхаюсь, то совсем-совсем один, как Сфинкс.

Соня стала все чаще болеть, что-то жгло ее изнутри. Тувинка Асия, приносившая им кислое козье молоко, предложила как-то поехать с ней в ее родное становище, затерявшееся в предгорьях.

- Валя, там у нас есть старый охотник Оратай, он горные травы знает, всех лечит. Он еще до революции учился в Монголии, жил на Тибете у буддистских монахов. Потом долго в тюрьме сидел. Русский язык знает. Поехали. Соню, мальчика тоже лечить будет. Денег мало берет. Мы на станцию завтра пойдем, все, что ему надо купим.

И Валентина Петровна сдалась.

Горы очаровали Никиту. Оратай стал не только поить разными отварами мальчика, но и брал его с собой, поднимаясь почти к вершинам собирать мумие – слезы гор, горную мелкую, очень кислую смородину, по берегам горной речушки нарезать охапки облепихи, а в самой речке ловить форель.

Как-то, отправив мальчика вверх к ручью за водой, вдруг через некоторое время прибежал сам, на ходу громко что-то выкрикивая и размахивая руками.

- Видишь, следы, за тобой сам барс ходил, а я его пугал. Вот он тут прыгнул,- и Оратай показал след большой когтистой кошачьей лапы на кромке снега.

То ли отвары, то ли походы по горам, где здоровые-то легкие рвались от напряжения, а Никитке – хоть ложись и помирай, но к концу лета задышал он полной грудью. И Соня, почувствовав себя вполне выздоровевшей, как-то вдруг засобиралась домой. Да не в Кызыл, а в родное село на юг России, где отец ее, вернувшийся с фронта инвалидом, жил в домике лесника, приняв на себя нехитрые обязанности этой должности.

На семейном совете решали будущее Никиты.

- Знаешь, Сонюшка, ты поезжай, устройся, а Никитушку пока со мной оставь. Опекунство над ним я оформлю. Пусть он школу здесь закончит. Мы к тебе на каникулы приедем. Посмотрим, как климат на него действовать будет. Не дай Бог, астма вернется,- Валентина Петровна предложила, а Соня согласилась.

- На твоих рисунках теперь только горы, Оратай, Соня, я и очень много цвета. Ты вернулся к рисункам Счастья?- улыбнулась подростку Валентина Петровна.

- Нет, это будет когда-нибудь картина, и я назову ее «Жизнь», - серьезно ответил Никита.

Как хорошо было после долгой зимы сидеть вдвоем на завалинке, пригреваемой солнцем. Весенние лучи с каждым днем становились все жарче. Сначала закапало с крыш, потом растопились ледяные корки возле деревьев, а теперь солнечные зайчики поторапливали зеленые травинки, с трудом пробивающиеся из земли.

Никите Александровичу стало полегче дышать. Он был все ещё слаб, ведь зиму они с аистом едва пережили. Но тепло, свежесть, приносимые дыханием весны действовали на него целительно. Шурке исполнился уже год, он перестал хромать, правда, крыло по-прежнему бесполезно висело, но птица была весела и счастлива. Человек догадывался, что не только весна так радует его товарища. Самому же Никите, хоть уже и реже, но все так же порой очень мучительно, переставало хватать кислорода. И снова легкие рвались и бились между лопатками.

... Дом был пуст. На полу валялся проржавевший чайник с проволокой вместо ручки, железная кровать перевернута, гниющие перья из подушки валялись повсюду. Соня растерянно оглянулась, закрыла лицо ладонями, плечи ее вздрагивали.

- Ну, кто же знал, что ты сюда приедешь. Уж сорок дней, как похоронили. Когда помер он, сразу-то не хватились. Это ребятня, когда на пруд бегала, к нему все время за червями забегала. У него за сарайкой знатные черви водились. Стали кричать, звать: «Петро Григорыч, Петро Григорыч. А он не отзывается. Открыли хату, а он – того, значит.... Ну

ты не сумлевайся. Бабы его по-хорошему обрядили и отголосили, и помянули, все честь-честью, - председатель местного сельсовета еще долго бубнил Соне, что всем миром..., что все, что могли, то сделали.

- Можно, я здесь останусь жить, в этом доме?- Соня выжидающе смотрела на суетливого представителя советской власти.

- А чего здесь-то?– удивился в свою очередь он,- Молодая, красивая, давай на центральную усадьбу. Там хоть нет – нет, да проезжающие шоферы неженатые появляются. Замуж тебя отдадим. А здесь чего?- он опять пожал плечами, - Одной не страшно-то будет?

- А я ружье заведу, чтобы не страшно.

- Ну, смотри, девка, тебе жить. - С тем начальство, откланявшись, и уехало.

А Соня, похлопотав в районном лесничестве, выпросила себе должность лесника, а в сезон становилась еще и работником на торфяных разработках.

По-всякому жилось ей. И ружье завелось, и козы. Это ей Оратай наставление когда-то дал, что лучше козьего молока для ее больного желудка ничего нет.

Никитка поступил в Ленинграде в институт живописи имени Репина. Валентине Петровне разрешили поселиться в Вязьме. Долгие годы каждый жил сам по себе. Пока не получила Соня письмо из Германии. В конце семидесятых Валентину Петровну настоятельно попросили покинуть Советский Союз, потому что самиздатом стали появляться труды ее мужа, в которых правительство партии и народа вновь узрело опасную для себя идею. Но так как мужа давно уже не было в живых, то ответственность за эти безобразия должна была нести его жена. Непосильная ноша для пожилой, больной женщины. В Гамбурге нашлась далекая родственница по материнской линии- фрау Штерн, которая во всем помогала Валентине Петровне.

Никита, у которого не складывалась семейная жизнь, не заладилось с карьерой художника (не прогибался ее мальчик в угоду властьпредержащим), отказался от эмиграции.

- Сесть сорокалетнему мужику на шею двум слабым женщинам в чужой стране, больному, да еще и неудачнику.... Нет, родная, поезжай одна, а я буду скучать. Видишь, в моих картинах поселилась Тоска.

И Соня, узнав из письма, что Никита, ее маленький талантливый Никитка, спивается, решила. Почти неделю, она выспрашивала всех, кто мог хоть что-то знать о художнике Ясиневском. По крохам собрала она информацию, что живет он в Ленинграде где-то на чердаках с такими же, как и он, непризнанными гениями, называют себя Митьками, продают иностранцам картины, и пьют беспробудно. И у него снова появился астматический синдром. Соня нашла тот чердак.

Нетрезвого, но счастливого от нежданной встречи, загрузила она его в поезд. Всю дорогу, сердце кровью обливалось, но своей рукой поддерживала в нем градус, чтобы спал. Так и привезла его пьяного с его нехитрыми пожитками в дом на краю леса. Самое ценное всю дорогу держала в руках – толстую, чуть потертую на уголках, книгу, где золотым тиснением над названием было: «А.А. Ясиневский». А на первой титульной странице помимо фамилии автора, можно было узнать, что он профессор минералогии Горного института города Ленинграда.

- Это Никитка отца нашел, чтобы найти себя. Человеку ведь очень важно знать, откуда он,- догадалась Соня.

Все чаще к Шурке в гнездо стала прилетать подруга. Весна и любовь неразделимы. Никита искренне радовался за своего подопечного. Скоро подруга, став официальной женой, уселась на яйца. Она требовала не так много, либо кормить ее, либо сидеть в гнезде до тех пор, пока она гуляет. Но выращенный человеком аист этого не понимал, он вообще думал, что лягушки должен приносить им бескрылый хозяин. Никита так и делал, но аистиха боялась людей, всякий раз срывалась с невысоко гнезда, когда старик из избы выходил во двор. Ясиневский клал лягушек в две мисочки, но его эгоистичный питомец

таскал из обеих, не оставляя ничего жене. Вообще, промучившись друг с другом все лето, потомства они не вывели.

Когда пришла осень, небо затянули тучи, начались нудные дожди, жена аиста вспомнила о теплом крае, звала туда Шурку. Долго они переругивались на крыше сарая, но однажды утром их маленькое болотце покрылось пленкой льда, на голых ветвях повис иней, аистиха призывно потрещала и взлетела. Шурка сорвался за ней, но больное крыло нелепо обвисая, мешало счастью...

Но он летел, пытался лететь, падал на кусты и деревья, изодрал грудь, опять поранил ногу. Уставший, весь в крови, он полз по грязи, трещал клювом, глядя на недоступное ему небо.

Через несколько дней, чуть живого, его нашел Никита. Он прижимал друга к груди и плакал вместе с ним, задыхаясь от горьких воспоминаний.

Больше никогда аистиха не прилетала к Шурке.

Вот так и остался у Сони Никита. Сначала рвался назад, к прежней жизни. А потом стали жить вместе. То ли муж и жена, то ли брат и сестра.

Вместе болели, вместе старились.

- В твоих картинах много жизни, но очень мало цвета, - критик из Кати был неважный.

Она знала, что больше они никогда не увидятся, что этот юбилей Сони, на который ее притащил Максим – последнее ее свидание с бывшим мужем в их земной жизни.

- На них Старость, - понимающе улыбнулся ей Никита.

Ветер гнал тучи, от них по земли скользили тени. Собирался дождь. Человек и птица возвращались домой. Впереди у них был ещё небольшой кусочек времени, чтобы быть, просто быть на этой земле.

Через два года Никиты Александровича не станет.

Он пригласил в гости на день рождения мужиков из села, всех тех, кто помогал ему в хозяйстве. Накрыл стол. Все хорошо выпили. И никто не понял, когда у хозяина начался приступ. Пока суетились в поисках ингалятора, потом кто-то ездил за фельдшером в село. Только не успели. А он успел, потому что страшился умереть и лежать в доме непогребенным.

Добрые односельчане похоронят его, будут искренне плакать и жалеть, но за хлопотами забудут о Шурке, а когда кинутся искать - не найдут.

Но старик и аист этого еще не знают. Они медленно бредут по осыпавшимся листьям, которые только что пели им осеннюю песню.

Эту папку с эскизами и две картины Сашка так и назвала: «Осенние песни».

Последние часы она жила на автомате. Александра была собрана и деловита - руководила погрузкой и разгрузкой, прорвалась к главе Гладишинского района, оформила документацию, сама распечатала бумаги, что-то подписывала, о чем-то говорила с Кислицыным, даже с Генкой шутила. Отчиталась перед Ираидой. Уговорила Геннадия отвезти ее на вокзал. Успела проводить родителей - врачей Международного Красного Креста, которые отправились в очередную командировку спасти африканские народы от вирусов и бактерий. И бабушку не огорчила. А что Сашка тиха да задумчива, так ведь творческая она личность. Вдруг вдохновение напало. Пусть сама отбивается. Так ведь никто и не лезет. Чтобы не расплескать себя, наушники, плед на ноги, и закрыть глаза.

Я отдал бы немало за пару крыльев,

Я отдал бы немало за третий глаз,

За руку, на которой четырнадцать пальцев!

Мне нужен для дыхания другой газ!

(Наутилус Помпилиус «Люди»)

Мокрые длинные волосы можно было принять за капюшон, какие носили монахи экзекуторы во времена спасительного и умертвляющего огня «справедливости». Как ее зовут? Кто она? Что с ней? Никто ответить не мог, а она не знала. Если бы кто-то посмотрел ей в глаза, то прочел бы испуг, отчаяние, мольбу о помощи.

Когда она оказалась на городской окраине, то, увидев бетонный забор, сбавила шаг. В ступни врезались осколки стекол, но крови не было. Впереди было нагромождение арматуры, с трудом через нее перелез, порвав плащ, она дотронулась до забора. Дыхание ее замедлилось, она закрыла глаза. Через миг от ее пальцев оторвался и разлился по бетонному ограждению мерцающий свет. Он дрогнул, словно задумался и сложился вначале в расплывчатые очертания, с каждой секундой обретая ясность. Вдруг свет начал жечь ей пальцы. Она отскочила на шаг, открыла глаза и, закричав, бросилась прочь. На бетоне был не рисунок, а впечатанная тень ангела, распахнувшего крылья.

Эй, жители неба,
Кто на дне ещё не был?
Не пройдя преисподней,
Вам не выстроить рай!
(Ария «Путь наверх»)

- Тише, Сашка, тише. Это всего лишь сон, - Ефимья Кондратьевна привычно баюкала, успокаивая, гладила по спине, вытирала испарину со лба. - Батюшки мои, а наушники-то тебе ночью к чему? Ой, Сашка, Сашка, уморишь ты себя, да и меня в придачу. Она еще что-то шептала, молилась, наверно. Потом, выключив ночник, ушла к себе. А Сашка, привычно пощелкав кнопками плеера, и вернув на место наушники, погрузилась в свой сон.

Душа моя рядом стояла и пела
А люди не веря, смотрели на тело...
(ДЦТ «Вороны»)

Сколько прошло времени, час, два или всего десять минут? По щекам катились слезы ее и дождя. Она вбежала в коробку недостроенного дома, забилась в темноту, в угол, запахла мокрым плащом. Теперь она помнила все. И как это впервые случилось. Как однажды у маленькой соседской девчонки она увидела сквозь платице и свитер два кровоточащих узких шрама, длинными полосами, пересекавшими спинку. А потом она узнавала их у всех, почти у всех. Она даже знала всех этих людей во сне, они просили ее помочь. Их крики разрывали душу в клочья, их боль не давала дышать. Может, она, действительно, сошла с ума, но она точно знала, что эти шрамы... там должны были быть крылья.

-Почему? Почему?- спрашивала она кого-то.

Ее голос переходил на визг и возвращался к шепоту. Ответа не было, но в голове появлялись картины.

Воины тьмы
Мир взяли в кольцо,
Тысячи птиц
Вниз рухнут дождем.
(Ария «Смутное время»)